Рисунок Марины Медведевой

Сон

Что-то настойчиво снилось, оставляя по себе тревогу и — ничего в памяти.

Это мама никак не могла пробиться.

— Какая ты светленькая! — изумился, когда она пришла, одолев завесу.

— Я потом потемнела, уже в Харькове... — сказала она, но не та, которую видел, а взрослым голосом последних ее лет и откуда-то сбоку — словно бы мы вместе глядели на нее, почти еще девочку, по-бабьи накушканную, в сером толстом шерстяном платке, старом, в катышках по ворсу, в теплых «лыжных» штанах и резиновых чунях поверх какой-то обуви, похожих на глубокие калоши, и в ватнике, большом, с мужского плеча, изрядно послужившем спецовкой кому-то, кто работал с железом и смазками.

Платформа вся в буграх и колчах от стоптанного в лед снега подрагивала, как земля под бомбами, и казалось, раскачивает толпу, приступом берущую вагоны.

Мама, сгибаясь под ношею на спине, знала, что ей не сесть, и ничего уже не делала для того, а только держалась за вагон, как за остаток надежды, и чувствовала, что ее мутит, вот-вот вырвет, и что ей не устоять, не оперевшись.

Паровоз, будто приведенный в ярость кишащей человечьей гущей, рявкнул гудком и, отбиваясь паром, дернул состав.

Борт, которого она держалась, стронулся, и от движения перед глазами приблизило рвоту. Все вокруг в последнем рывке кинулось садиться, потеснило. Чуни, будто шаля, скользнули с ледяной кочки, и маму, схваченную лямками вещевого мешка, пошитого бабуней по образцу воинского, однако много вместительней, — маму бросило под поезд, проворачивая, будто разминая боковыми частями платформы и замысловатым поддоньем вагона.

Ноги, ища опоры, в панике распихивали пустоту, руки искали, ударяясь локтями и сбив обо что-то костяшки пальцев, а она видела колесо и как ее поворачивает, укладывая под него, словно ломоть под винт мясорубки.

Все, что она думала и что творилось у нее внутри, повторялось и во мне, и от этого виденное было жизнью, проживаемой нами вместе. Ее мысль еще без

испуга, отставшего где-то, всего только удивлялась происходящему и словно доказывала кому-то, что это никак невозможно, чтобы ее сейчас ни с того ни с сего взяло и переехало надвое: ее ждут дома!

Тут мешок, подхватывая ее шлеями, дернулся вверх, но застрял, обдираясь, надрывая ткань, рывками полез в гору и высвободился, подкинул и бросил ее на платформу.

Худая, высокая, как жердь, женщина с глазами, пугающими чернотой, с носом, подбородком и ртом недоброй колдуньи, обессилено припала рядом на корточки, все еще держа намертво вцепившейся рукой, как шиворот пойманного воришки, узел мешка, а другой — поворачивая к себе мамино лицо.

— Як ты? Га?

Мама, только теперь поняв, что с ней было, и испугавшись запоздалым, но жестоким, без скидок, что все уж позади, страхом, вздрогнула побелевшим лицом и, пожалев себя, так близко побывавшую у почти неотвратимой смерти, заплакала.

К угольным глазам спасительницы, глядевшим в мамины глаза, поднялась рука с крестьянской чернотой у ногтей и по оврагам разветвленных морщин, чтобы отдавить, прогнав по коже к виску, каплю.

— Беремкувата?

— Не знаю, наверное...

— Беремкувата, бачу. А шо вэзэшь?

— Чуни, — шевельнула мама не совсем еще своей после пережитого ногой, показывая на себе. — Менять...

— Гарни. То шо трэба! Якбы ище и на потяг... Додому пиду. А гарни. У нас, у Рожнах, воны... Я б и сама усэ взяла. Пидэшь?

— А что дадите?

— А ты дийдэшь? Це до Дэсны!

— Я знаю, нас школой на катере... А что дадите?

— На катере!.. Картопли дам, цыбули. А як допоможэш Паце капут зробыть — сальця дам, мьясушка... На катере!..

— Это — зарезать? — спросила мама, робея.

Та глянула испытующе, прибавила, словно на чашу весов:

— А сало? А мьясо?.. — И махнула рукой: — Та ты не дийдэш!

— Дойду, я сильная!

— Та вжэ бачу...

— А сколько дадите?

— Скилькы утягнешь! — И глянула насмешливо на прозрачные пальцы, которыми мама трогала сбитые косточки на руке.

— Я много унесу, я сильная!

— Бачу, бачу!..

Остро наискось они шли бескрайней заснеженной гладью великой реки по одиноким следам, оставленным накануне той же путницей. Длинная, цыганской расцветки и кроя юбка волочилась по рыхлому снегу подолом, мокрым, как хлющ. В следах не глубоко, но пугающе стояла вода.

Словно коротая дорогу, не та мама, что ступала по вот-вот готовой вскрыться реке, а другая, тридцатью годами старше, присутствуя только голосом, который рядом, говорила:

— Помнишь окно у бабуни? Стены старинные, в сажень толщиной, и подоконник, как стол. Мы с Маней играли на нем, как и вы маленькие. А за окном крыша пристройки. Летом мы спрыгивали на крышу, а дядя Лошадь выскакивал нас гонять. И перед самой войной — здравствуйте, пожалуйста! — дядя Лошадь, наш дядя Володя, сватается к Мане! На фронте он скоренько поякшался с доктором, сознательным, как и он. И отстрелил себе палец. Решали, самострел или ранение, врачи. Со свидетельством, что ранен, попал в госпиталь, в Киев, а под немцами пристроился на мельнице носить мешки. А папа, прикрываясь больными легкими, не пошел к немцам кондитером. Он добыл колодки, выкройки, покупал сношенные камеры, бензин, каучук, и мы всем семейством клеили чуни.

— Так я, выходит, потомственный?

— Выходит. А люди, первые — своей волей, поехали в Германию. А после немцы стали гнать силой. И приносит Володя от сознательных, которые в полицаях, что не возьмут только больных и беременных. И мы втроем — Маня, мама и я... Я от мальчика, с которым дружила в десятом... Когда подходили наши, немцы погнали всех из Киева, из фронтовой полосы. Твоему двоюродному Юрке был месяц, дяде твоему Валере — вторая неделя. А я десятого октября родила Талочку у дороги. Осенью под открытым небом трое маленьких на нас с папой четверых. Пеленки стирали в лужах, сушили на себе. И всех сберегли.

Села не было. Село угадывалось по дымка́м, струящимся из земли. Раскисшим, чавкающим окопом, сдвинув обломок авиафанеры, проникли в темное после дневного света подобие норы, где было очень тепло и душно, как в бане. Из бочонка-печки, прогоревшего сбоку насквозь, и из щели над фанерой пробивался свет. Обвыкшись, глаза различили бревна наката над головой, оплетенные тыном стены и полати плетнем, с которых из вороха соломы глядели четыре пары детских глаз.

Хозяйка с глубоким выдохом опустилась на полати, усадив маму, помогла снять мешок. Потом с простотой лошадника, осматривающего копыто, приподняла ей

ногу, чтобы разглядеть, как предлагаемая обувка сдюжила путь-дорогу.

— Хоть бы тоби хны! Гарни!

Словно уже за своим, она, послабив удавку и отворив мешок, сунулась к товару, распространившему по жилью острый запах резины и клея. Любопытную детвору строгим взглядом вернула на место и, помедлив в раздумье, подала пару старшему.

Мальчишка лет двенадцати, как капля на каплю похожий на мать, волшебным образом ее черты недоброй колдуньи сменил в себе на неотразимую, царственную красоту. Чернобровый, с агатовыми глазищами, с высокой, по-мальчишечьи гордой шеей, — он проворно сел рядом, вынул откуда-то рогожные портянки и, ловко запеленав ступни, сунул их в обнову.

С улыбкой конфузливого счастья он прошелся, показывая себя. Мать глянула на остальных, тоже счастливых и за брата, и за себя, и, протянув куда-то в темноту длинную руку, поставила между собою и мамой чугунок с картофелинами, отваренными в мундире.

Скромно касаясь поверхности пахучего постного масла в глиняном черепке, они и детвора уплетали до невозможного вкусную картошку, а хозяйка силилась уговорить старшенького помочь с поросенком.

— Пацю?.. — отозвался он одним словом, но так, будто его подговаривали убить друга. И хозяйка махнула рукой.

Прихватив для крови и внутренностей долбленое корыто и ведра, смастеренные из больших консервных банок, в которых немцы снабжались сгущенным молоком, а также спрятав под борт ватника австрийский, с той еще войны, штык, хозяйка повела по крытому переходу в соседний, более просторный и почти пустой блиндаж с загородью в углу, в которой оживился, встречая кормилицу, мохнатый и серенький, словно замаскированный в угоду времени под нечто шинельное, не очень большой и обезоруживающе миловидный свинтус с умнющими, почти говорящими чайными глазками.

Он догадался и так посмотрел на хозяйку, что та, погладив, закрыла ему глаза и, сделав жестокое лицо, с силой саданула штыком под переднюю левую ногу.

Свин вскрикнул на вдохе и, закричав душу раздирающим криком, ринулся между ее ног, напялив себе на голову ее размашистый подол и усадив ее задом наперед на себя верхом. Он кричал и носился, наматывая круги, к которым привык, гуляя отпущенным из загороди в блиндаж. А она, нелепо и смешно, как не вышло бы и у самого лучшего клоуна, перепуганная, беспомощная скакала на нем спиною вперед, отчаянно ухватившись за штопор хвоста и, словно джигит, размахивая штыком.

Наконец он остановился и, будто запыхавшись, устав бегать, припал на колени.

Ранним-ранним утром она, гримируя под старушку, испачкала маму сажей и проводила ее до тропки, протоптанной ими по Днепру. Там перевесила на маму дорогую и тяжкую, как жизнь, заплечную кладь. Мама в полусне покорствовала ее рукам, гадая, откуда в ней такая сонливость — от раннего ли часа или от подзабытой сытости, навеянной шкварками.

Когда она уходила по равнине реки, хозяйка в спину перекрестила ее.

Я проснулся, помня сон лучше, чем если бы увиденное пережил сам. Никогда и ничто не снилось мне так прежде, и, чувствуя утешительную влагу в дыхании, какая бывает после слез, я подумал, что это, как хозяйка маму, — мама меня благословляет на что-то этим сном.

Шарик

Кто-то принес, или он сам приблудился, но у нас на площадке Шарик возник, когда ему было месяца полтора от роду. Пушистая трехцветная шубка, делавшая из него округлый комочек, предопределила имя. Не пятнами, а вперемежку кремовыми, бежевыми и каштановыми кудельками, его шерстка была необычайно мягкой и выглядела такой чистенькой, что его, выхватывая друг у друга, мы таскали на руках и без устали чмокали в кожаный, как у игрушки, нос и выпуклый шелковистый лобик... Кто-то из старших помог соорудить для него конурку на нашей лестничной площадке, которая служила местом сбора для десяти детей, обитавших в трех квартирах.

Двери не запирались — мы вольно мигрировали из жилья в жилье и в большой, загадочный, обживаемый нами как нечто географическое двор. Он отграничивался пятью похожими двенадцатиквартирными домами, которые составляли квартал, обнесенный высоким зеленым забором — прозрачным благодаря широко, штакетником, отстоящим одна от одной планок, с просветами вместо ворот в местах проезда и проходами вместо калиток на пути тротуарных дорожек.

Дома строили пленные немцы. Они разрушили наши города — они же в искупление пять лет с арийской обстоятельностью помогали их отстроить.

Полтора десятилетия отделяло нас от войны, а главной детской игрой по-прежнему оставалась она. Да, пожалуй, нынче никто бы и не назвал это игрой. Мы стреляли из рогаток и арбалетов. Атакуя соседние бараки, везли за собой тачку с боевым припасом — камнями. Залпом палили из самопалов с серой со спичек вместо пороха и шариками из подшипников в качестве пуль. И не помню, чтобы кто-то из взрослых пытался нам это запретить. Они сами еще не отболели войной, еще не откашляли ее и принимали наши опасные забавы за своего рода учения, где можно притерпеться к страхам и отпробовать отваги.

Нет, нет, она еще сидела в людях, переживших ее, она хозяйничала в душах детей, родившихся после нее. И наши дома, построенные пленными. И бомбоубежища под домами — просторные, прочные, с электричеством, с удобствами, с таинственными ходами сообщения и общим аварийным лазом в центре двора. Никто не посчитался, что убежища отнимут труда и материалов больше, чем само жилье, — такая война была за плечами. И то, как теплым вечером все выходили во двор, как заполнялись беседки и лавочки... Еще оставалось чувство родства, внушенное войной.

Чтобы не выпадать из игры, ребятня хватала дома куски и жуя бежала во двор, где первым делом каждый звал: «Шарик, Шарик, на, на, на!» И лоснящийся от сытости Шарка чертушкой прилетал на голос, чтобы одним глотком прикончить угощение.

Вскоре этот зов сменился свистом, повторявшим мотив той же фразы: «Фифу, фифу, фью, фью, фью!» Чуть позже этим же свистом стали вызывать на улицу друзей. Шарика давным-давно не было на свете, а меня, отслужившего армию, запросто могли кликнуть так из дому те, кого и я, не задумываясь, вызывал точно так же.

Смекалистый и с хитринкой, как и положено дворнягам, Шарка сам собою выучился ползать с нами в разведку и помалкивать, когда нужно молчать. В атаку он бежал последним, зато первым, поджав хвост, драпал, когда мы отступали. За это его поднимали на смех, а он влюбленно улыбался, дразня языком, и иногда казалось, что он нарочно ломает из себя шута и труса, чтобы за трусость не доставалось никому другому.

Общий всему двору, хозяевами Шарка считал Кесого, его старшего брата Куню и меня. А любил больше всех детдомовца Стаську, навещавшего на каникулах тетю Мотю и носившего прозвище Стася-Мотя.

И вот в присутствии Шарки, который со Стаськиных колен очарованно заглядывал нам в лица, переросток Харя принялся однажды обучать Кесого, меня и Стаську игре в преф. Харя был старше года на четыре, если не на все пять. Плоским, необычайно широким лицом он походил на ноздреватый блин. Помнится, тетя Мотя, торговавшая, сидя у подъезда на низенькой табуретке, семечками, которые для вкуса опрыскивала при жарке изо рта подслащенной водой, проворчала:

— Сма́лился! У самого морда — за три дня не объедешь, а туда же!..

Вызывая в нас зависть и восхищение, Харя сыпал игроцкими присловьями. «Под игрока — с семака!» — заходил он. «Под вистующего — с тузующего». «Валет для дамы!» — прибирал к рукам взятку. «Пас денег не даст!» — высмеивал осторожных.

Когда под первое понимание игры в нас, словно аппетит, проснулся интерес к ней, Харя собрал колоду и, струйкой пустив слюну между зубами, со скучливым видом поднялся.

— Уходишь? — скис Стаська.

— Задарма играть — только время терять.

— А на деньги? — деловито прищурился Кесый.

— Копейка вист — поехали.

Свою мошну с медным содержимым Кесый таскал с собой, мой капитал хранился за надломленной половинкой кирпича, которая вынималась из стены в подвале. А Стаська припрятывал скопленное под съемной декоративной шишкой в спинке тетушкиной кровати. Мы знали, сколько у кого собрано, и, свято веря, что уж по копейке-то на вист у нас найдется, легко отважились на игру.

Расчертив на новом листке «пулю», Харя перевернул его и, проговаривая вслух, стал писать: «Слово — закон. Карте — место. За неверный снос — два в гору...»

Правилами, условленными «на берегу», заполнилась почти вся страница. Последним его каракулями было накорябано: «Все, что останусь должен, — сдохну, а отдам».

Закончив, Харя расписался и повернул листок для подписи Кесому, потом Стаське и мне.

С первого же кона мы полетели в проигрыш, как в пропасть. Остановиться, пока не закрыта пуля, было нельзя, и каждый только и думал с тоской, хватит ли у него для расчета. Шарка, понимая по нашим лицам, что надвигается какая-то небывалая, еще не изведанная нами беда, беспокойно ерзал и глядел без слез плачущими глазами.

Мы отдали Харе все, что имели, и остались должны: Кесый — семьдесят две копейки, я — рубль двадцать четыре, а Стаська — без шести копеек два рубля.

Это были совершенно немыслимые, неподъемные долги. Никакое, даже самое фантастическое везение не могло выручить нас.

Харя картинно и многозначительно прибрал листок с нашими подписями и сказал, показав на Шарика:

— Не отдадите — он за вас ответит!

Не оставалось ничего другого, как прятаться. Мы стали отсиживаться у себя на площадке или в подвале под домом. Простак Дыня, наведываясь, то и дело повторял, разводя у щек руки:

— Харя с мордой приходил, вас спрашивал...

Дни вынужденного затворничества тянулись мучительно долго, и нам хотелось только одного — чтобы как-то это наконец разрешилось. И это разрешилось.

Поздно вечером Харя поднялся к нам на площадку, доверчивого Шарку, погладив, крепко прихватил за ухо и с оглядкою, чтобы не попало на руки, облил его бензином. Потом чиркнул зажигалкой и, когда вспыхнуло, прыгая через четыре ступени, сбежал.

Крик, потрясший гулкий подъезд, выгнал всех из квартир. Не Шарик — шар пламени, кричащий человеческим голосом, скатился вниз, пронесся ко второму подъезду и там через распахнутую дверь влетел к Стаське на кухню. Тетя Мотя как раз открыла, чтобы выгнать чад от подгоревших семечек. Перепуганная, сама не понимая, что делает, таз с замоченными к стирке вещичками она выплеснула на Шарика, сбив пламя.

На вате, покрытой марлей, он лежал у себя в углу на площадке. Не обгорела только голова, а все остальное... Вместо пушистой шерстки была сплошная смоленая рана.

Наученные тетей Мотей, мы без конца смачивали обожженное Шаркино тельце тампоном, напитанным постным маслом.

Шарик жил. Не жалуясь, не плача, он благодарно принимал процедуры и пил молоко, боком опуская в миску рот и неловко лакая словно бы заплетающимся языком.

Подсохшее трескалось на нем от движений и оттого, что дышал. И все сильнее пахло гнилым, мертвым мясом.

Его глаза любили нас все преданней, а ушел он тихо, словно уснул.

Не помню, встречался ли нам Харя — не помню, он нас больше не искал. И только освободившись по малолетке, когда вдруг сказочно много стал зарабатывать в сапожниках и когда те из приятелей по двору, что сделались выпивохами, начали караулить у рундука мое возвращение с работы, чтобы разжиться на пивко, я встретил в их кругу и Харю. С искательством попрошайки он тоже лыбился мне — старому знакомцу.

— Так мы же тебе должны! — злобно порадовавшись, воскликнул я. — Там около четырех было с нас, с троих. Держи вот пятерку — с процентами!

Не веря в удачу, Харя принял мятую синенькую.

— А Шарика помнишь?

Улыбочка присохла к круглой, блином, его личине. От плюхи он шмякнулся под дощатую стенку рундука, прикинувшись, что в отключке. Я только-только освободился, за мной висели два условных года, но как же, господи, как хотелось добавить с носка!..

Прошло столько лет... Пожалуй, это единственный человек, которого я не могу простить.

Наградное оружие

Мама с папой и дядя Володя с тетей Маней ушли в кино, оставив Аню и меня на старших — на нашу сестричку Талочку и привезенных тетей Маней двоюродного Юрика и дядю Валеру. Дядей Валера приходится нам по родственной принадлежности, а так они с Талой и Юркой — ровесники из ровесников. Они родились осенью сорок третьего с разлетом в датах всего на несколько дней. Еще очень нескоро мы узнаем, что ими наша мама, бабушка и тетя Маня спаслись от угона в Германию, проведав в занятом немцами Киеве, что не тронут больных и беременных.

С первой минуты их встречи мы, и я, и Анечка, чувствуем, что они — не разлей вода. Причиной тому обстоятельства их появления на свет или равенство прожитых годков и дней — не нашего ума дело. Однако столь очевидное их единение заставляет нас, маленьких, и липнуть к ним и их расталкивать.

Валерик привез бабушкину фотографию, которая расчерчена поверх снимка на одинаковые прямоугольники. (Для него-то, конечно, фотография мамина, но для нас — бабушкина.) И большой картонный лист с гладкой белой поверхностью, на котором ровно столько же прямоугольников, увеличенных, однако, раз в пять. Карандашом с мягким грифелем он переносит контуры лица с прямоугольника на фотографии в соответствующий прямоугольник большого листа, и мало-помалу на картоне начинает возникать бабуня.

Что-то таинственное, что-то волшебное чудится мне в этом. Я ближе всех к его руке, я мешаю, но он не отталкивает, он обнимает меня и прорисовывает бабушкин портрет уже будто бы вместе со мной. Однако

теперь моя голова заслоняет перемены, происходящие на картоне, от Юрика, который остался в стороне и которому обидно, что внимание всех захвачено Валеркой. Он чувствует настоятельную необходимость немедленно что-то предпринять. И вот, ради пущей болезненности ущемив ногтями самую малую чуточку кожи, он щиплет за руку кудрявую, как кукла, пятилетнюю Анечку. Она вскрикивает от неожиданности и жгучей боли, а он, изобразив на лице безобидное заигрывание, проговаривает, сюсюкая:

— Сцип!

Талочка втискивается между ним и Аней. Он глядит с чистейшим простодушием и, незаметно протянув руку, так же въедливо прихватывает и ее.

— Сцип!

Талочка отвечает атакующим яростным щипанием.

— Ты что, фашистка?! — изнеженно и возмущенно кричит он. — Из человека мясо рвать!

— А ты?

— Я по чуть-чуть!

— Ага, «по чуть-чуть»! Потому и по чуть-чуть, что так больней всего!

На этом перепалка исчерпывается, все снова наблюдают за превращениями, которые производит Валерин карандаш.

— Жорка, не сопи! — находит новую зацепку Юрок, которого по-прежнему берут завидки, что всем интересен не он, а Валера.

— У него носик сломан! — вступается за меня Тала, а Юрка тут же подхватывает, с удовольствием пользуясь тем, что не им затронута запрещаемая взрослыми тема.

— А что с тобой сталось, когда ты упал? — коварно спрашивает у меня.

— Я потелял соснение, — произношу я с подменой еще не освоенных звуков и чувствую кружение в голове, которое возникает всякий раз, если вспомнить, как я упал и зашибся, и что-то похожее на подступающую тошноту.

— Ой, посмотри, как у бабуни глазик начал светиться! — преувеличенно громко восклицает Тала, стремясь поскорее меня отвлечь.

Валера, заштриховывая темным, оставил белое пятнышко, и глаз бабуни словно бы ожил. Это так

удивительно, почти невероятно, но все же я чувствую затылком Юркину ухмылку. Мне представляется его лицо с раздвоенным сверху вниз кончиком носа, с этой его бубкой, вдавленной посредине и разделяемой тем заметнее, чем ехиднее он улыбается. И я начинаю думать, что «двуличный», как сказала ему нынче Тала, означает именно эту раздвоенность его носа.

— Валерка, ля, какая муха жирная на окне! — находчиво объявляет донимаемый ревностью Юрок. — Спорим, что не поймаешь!

Круглый, как у совы в книжках, глаз Валеры смыкается в щелку. Он горделиво фыркает:

— На стекле? Да легче легкого поймать!

— Только живьем! Мы ее — в упряжку!

Муха, зудя и ударяя, тычется в прозрачную преграду и скользит по ней вправо и влево, но не дальше брусков рамы, ограничивающих стекло. Валера загоняет ее в угол, прижимает ладонью, которую просвечивает солнце. Несколько настороженных пасов — и муха у него в щепотке.

— У-у, какая! — восхищен Юрок. — Лапищи, брюхо!..

— Бомбардировщик! — похваляется добычей Валерка.

— Не! У нас она будет тяжеловозом!

Из накладного кармана курточки, раздутого содержимым, он уже выудил, на ощупь просеяв пальцами бесценный для него скарб, выгнутую из одного кусочка тонкой проволоки крошечную колесницу с двумя кружками-колесами, осью и оглобелькой с загибом в виде крюка. Этой закорючкой он прокалывает брюшко мухи и так, уже запряженной, пускает повозку на стол.

В попытке взлететь муха производит низкое гудение и, приподнявшись на вершок, пролетает сантиметров двадцать, волоча за собой проволочную бричку.

— Глиссер! — сипит Юрок придушенным от восторга голосом.

Муха еще и еще раз, словно пропеллер, запускает крылья, но уже не поднимается, а только гудит, оставаясь на месте. Отняв у Валеры карандаш, Юрка понукает ее, тыкая концом грифеля. Со сложенными крыльями она убегает, быстро увлекая за собой повозку. Юра правит, орудуя карандашом, и мне начинает казаться, что мы едем в этой бричке — как в таратайке, запряженной пони, когда нас катали в зоопарке.

Но вот муха взбегает на лист с неоконченным портретом. Изображенные загибом проволоки колеса упираются в ступеньку из картонного среза, лапки мухи начинают проскальзывать по мелованной поверхности.

— Подсади! — говорит Валера, но Юрок колет заточенным грифелем под основание ее крыльев.

Муха взбадривается, отчаянно, но вхолостую роет конечностями с остро сломленными коленками.

— Подсади! — повторяет Валерка и тянется, чтобы поддеть мизинцем оську колесницы.

— Сама пускай! — сбивает его руку Юра и тычет острым в прокол на брюшке.

Вздернувшись на дыбы, муха одолевает преграду и ползет по подбородку бабуни.

Мне хочется, чтобы она ушла с лица, но Юрка сталкивает ее правее и правее. Она кружит, ступая по бабуниным глазам.

Становится заметно, как что-то беловатое и мокрое выдавилось из ее проколотой задней половины и тащится, оставляя след на рисунке. Анечка брезгливо морщится, отворачивая личико, а Тала говорит:

— Хватит! Отпусти! Ей же больно...

— Мухе?! — поднимает ее на смех Юрка. — Мухам больно не бывает!

— Одному только тебе бывает! — порывается Талочка забрать у него карандаш.

Но он увертывается и тупым концом карандаша метко и быстро раздавливает переднюю половину мухи в круглую кляксу. А повозку с остатками брюшка на крючке, словно бы нам в отместку, забирает и прячет в карман.

С гримаской отвращения Анечка косится на этот карман и так подается в сторону, будто оттуда скверно пахнет.

Но еще большую брезгливость и неудовольствие вызывает у всех мерзкая клякса, оставленная на портрете бабушки. Бросив в нашу сторону презрительный взгляд, Юрка, задрав нос, с независимым видом покидает компанию. В начале коридора он суется в кладовую.

— Гля! — зовет оттуда. — Инструменты!

— Не лазь! — запрещает Тала. — Это нельзя трогать!

— Нельзя, нельзя! Все у вас нельзя!

Он сворачивает в широкий коридор-прихожую.

— А это что? — кричит оттуда.

Вслед за Талочкой, которой отвечать перед взрослыми за все, что у нас будет не так, мы, держась тесным кружком, смещаемся в прихожую.

— Это антресоли.

— А как туда залезть?

— Никак туда лазить не надо. Там елочные игрушки, и ничего там больше нет.

— А давайте там спрячемся! — таинственно шепчет Валера. — Наши придут, а нас нет...

— Они испугаются... — не очень решительно возражает Талочка, которой тоже показались заманчивыми такие прятки.

— А мы тогда объявимся!

Талочке представляется, что это действительно будет забавно. С загоревшимся интересом она спрашивает:

— А как мы — туда?

— Стул подставим! — живо откликается Юрка.

— Со стула не дотянешься.

— А мы на стул — второй стул!

— И стулья останутся? Спрятался, называется!

— А где у тебя бельевая веревка? — с интригой в голосе спрашивает Валерик.

— Веревка?..

— Веревка! Мы их — за спинки. И утянем потом за собой!

Я еще не знаю, что боюсь высоты. Мне делается муторно, когда Юрок вскарабкивается на верхний стул, который придерживают Валерик и Талочка, чтобы он, едва умещаясь ножками на нижнем, не соскользнул и не сковырнулся. Мое дыхание, удушливое, неверное, сбегает куда-то вниз, и что-то толкает меня под коленки, поразив ноги противной дрожью. Юрок распахивает выкрашенные белилами дверцы и, толкнувшись от стула, ныряет в отворенную темноту.

— Ух и простору! — слышится оттуда. — Жить можно!

Настороженно сохраняя равновесие, взбирается и пошатыванием проверяет устойчивость пирамиды под собой Валерик. Талочка, подхватив подмышки, подает ему меня — он принимает, ставит рядом с собой.

— Стласно! — с дрожью, которая из-под коленок отдается в голос, произношу я и цепляюсь за рукава его «бобочки».

— Тебя как зовут? — ни к селу ни к городу спрашивает Валерик.

Не выговаривая же и «эр», я отвечаю удивленно:

— Зоя.

— Вот! — откликается он, будто на неоспоримый довод. — А Жорикам страшно не бывает, Жорики все храбрые! — И, гипнотизируя круглыми, словно циркулем прочерченными глазами, из рук в руки передает меня Юрке.

Я пячусь подальше от края, в полумрак, и касаюсь стены, которая пахнет побелкой. На антресоли передают Анечку. Она не боится, ей весело и уютно, она прохаживается, не пригибаясь, как Юра, и вместе с ней уютно и не так уж страшно становится и мне.

Взбирается Талочка, берет меня под крылышко. Из-под ее руки, сместившись ближе к бортику, я, расхрабрившийся окончательно, смотрю, как влезает Валерик, как втягивает, выбирая веревку, стул, затаскивает второй.

Приятная теснота уютного обиталища. Мы чувствуем себя как зверушки в родной норке и не можем не улыбаться. Фанерный, былой посылки, ящик с елочными игрушками Талочка для сохранности сдвигает в дальний угол, и под ним, у самого бортика, обнаруживается полевой офицерский планшет из потертой и размятой пахучей кожи. Он не тонок, каким обязан бы быть, а перекошенно раздут спрятанным в нем чем-то тяжелым. Валерик послабляет ремешок, чтобы расстегнуть пряжку на верхнем клапане. Если бы это делал бесцеремонный Юрка, Талочка непременно одернула бы его. Но Валерик так деликатен и так симпатичен. Вскрытый планшет сам собою раскладывается на три части, и из того места, где хранилось тяжелое, выскальзывает... пистолет. На его рукояти привинченная золотыми винтиками золотая же пластинка, на которой отчетливо вырезанными красивыми буквами что-то написано. Поворачивая к свету мерцающую плоскость, Валерик, не вдруг разбирая витиеватую вязь, произносит запечатленные на сверкающем металле слова, из которых явствует, что мой папа герой.

Все замолкают, и мне кажется, что это из-за происходящей во всех одинаковой перемены в отношении к моему папе. Из-за понимания, что он отличается от папы Юрика — дяди Володи, и от дедушки, и ото всех, живущих рядом, и это отличие так же весомо, таинственно и значимо, как спрятанный здесь пистолет с табличкой из золота.

Кто-то затрагивает распавшийся на части планшет. Там, в глубине, еще что-то. Юрка тянется запустить руку, но Талочка сбивает ее проворным шлепком. За неведомым устремляется рука Валерика. Небольшой пузатенький увесистый коробок из грубоватого ворсистого картона появляется на его ладони из-под кожаной перепонки планшета. За снятой крышечкой коробка — тонкая, пропитанная темным маслом бумага, а под ней — завораживающе одинаковые, блестящие, гладенькие, упитанные, как пупсики, патроны.

Валерик находит в нижней части рукояти защелку магазина, извлекает порожнюю обойму. Действия его рук не могут быть иными — они предписаны наличием оружия и зарядов, предназначенных ему. Руки, как зачарованные, сами берут патрон, сами прилаживают его к полости в обойме.

— Наоборот! Наоборот! — повелительно шипит Юра не Валерке, а подпавшим под чары оружия этим рукам. Одушевленные отдельно от Валерки заколдованные пальцы переворачивают патрон. Скользнув, он проваливается в приемник, и что-то ловит его там, отсекая путь назад.

Когда полный магазин уходит в рукоять и пружинно срабатывает защелка, за входной дверью, расположенной точнехонько под нами, возникают голоса родителей.

Талочка и Валерка шикают в нашу с Аней сторону и старательно притворяют дверцы антресолей, погрузив нашу засаду в полный мрак.

— Дети! — зовет вошедшая мама.

— Детюхи! — вторит тетя Маня.

О чем-то своем оживленно переговариваются, разуваясь в прихожей, отец и дядя Володя.

Успев заглянуть в обе комнаты и кухню, мама и тетя Маня догадываются, что это игра, и погромче, для нас, даются диву:

— Ой, да где же они?! Пропали!..

Слышно, как они отправляются на поиски, как заглядывают в ванную, в кладовую. Потом раздается писк открываемого шкафа, кто-то нарочито покряхтывает, заглядывая под кровать.

— Да где же они? — уже с тревогой спрашивает тетя Маня. — Неужели на улице? Мы же настрого запретили! Ох, и получит Юрка у меня чертей!

— Дети! — зовет мама встревоженно.

— Ку-ку! — негромко отзывается Талочка.

Взрослые замолкают, вслушиваясь.

— Вот негодники! — ругает нас тетя Маня с нотками восхищения.

— Показывайтесь! — зовет мама. — Мы сдаемся!

Под громкое «Ку-ку!» Талочка распахивает дверцы антресолей.

Родители, потрясенные и озадаченные тем, куда и как мы забрались, все вчетвером оторопело разглядывают наши счастливые рожицы, когда Валерик в довершение картинки приставляет дуло пистолета к моему виску.

Я счастлив тем, как ловко мы их разыграли. Мне кажется, что разительная перемена в лицах взрослых — их небывалая похвала нашей изобретательности.

Утром, зажав сердце в кулак, отец отнесет наградное оружие в военкомат и сдаст его там.

г. Харьков